

Два матери

Еще в такси шофер, поняв из разговора, кто эта подвижная смугловатая женщина, стал очень осторожен на ухабах, повел машину медленней и то и дело скашивал глаза на зеркальце, отражавшее пассажиров.

— Корчагина? — кивнул он, когда она легко выпрыгнула у подъезда. И тут же выразил готовность ожидать нас хоть до завтра.

Позвонив, она быстрым движением стала оправлять шаль, но не успела. Дверь открылась, и навстречу ей понесся беспорядочный и радостный поток восклицаний, приветствий, поцелуев. Но она миновала этот поток и, отыскав глазами и сразу узнав ту, которую ей было нужно, перебежала тесноватую переднюю и остановилась.

Минуто они стояли, взявшись за руки и молча глядя друг на друга. «Так вот она какая?» — казалось, говорили их взгляды, — «так вот она — мать Павки Корчагина!», «так вот она — мать этого огромного, знаменитого Маяковского, портрет которого висит у нас над столом!».

И, словно решив для себя что-то, обе старые женщины крепко поцеловались.

Новая синяя скатерть, ломкая от крахмала, блестя на столе. Ольга Осиповна Островская привычным женским гла-

зом отметила безукоризненную чистоту полов, стен, белизну салфеток и занавесей — все то, что указывает в доме на присутствие заботливой и опытной хозяйки. Это была знакомая ей с детства область, в которой она чувствовала себя вполне свободной. Именно со скатертей и преимуществам камчатных перед тканевыми начался разговор двух матерей. Но, хотя говорили они о самых обыденных бытовых вещах, в их беседе всякому слышался свой, очень значительный подтекст. Подтекст этот был о том, что вот они, две старые женщины, много трудились и многое испытали на своем веку, родили двух замечательных, прославленных страной сыновей, и сыновья эти умерли и что общность судьбы заставила их искать друг друга, чтобы поговорить...

Приближаясь к некоторым старикам, ясно ощущаешь, что жизнь уже не дает им никаких впечатлений, не имеет для них цели и смысла и что на свете им не нужно ничего, кроме спокойствия.

В этих же старых женщинах чувствовалось очень полное напряжение жизни, горячий интерес к ее впечатлениям и та живость восприятия, которая свойственна только самым молодым.

Они похвалили друг друга за бодрый вид.

— Митя — старший мой — смот-

рел в Харькове спектакль «Как закалялась сталь», — сказала Ольга Осиповна, — потом его актеры позвали, спрашивают, как кто играет, верно ли? А он говорит (тут она в лицах представила, как говорит Митя): «Все хорошо, только вот Корчагина у вас, как гриб старый, совсем тухлаявая. Моя Корчагина не тухлаявая, она у меня бегом бегаёт», — и Ольга Осиповна, отодвинув со лба платок, показала темные волосы:

— Вон, седины еще мало.

Александра Алексеевна Маяковская наклонила голову:

— А у меня совсем зима.

Но несмотря на то, что у одной еще были темные, а у другой уже белые волосы, они были чем-то похожи. Обе маленькие, хрупкие, с темными, острыми глазами и живыми движениями. И, как мазанка в селе Вилии, где родился Островский, была родной сестрой крытого дранкой домика Маяковских в Багдади, так эти старые женщины были родными по своей судьбе. Обе с детства привыкли к суровостям жизни, обе терпеливо, как птицы, вили гнезда, воспитывали детей, обмывали и обшивали всю семью.

Муж Александры Алексеевны был лесничим. Муж Ольги Осиповны — солодовщиком на винном заводе.

— Хозяин-покойник с леной был, — вспоминает Островская, — бывало скажет: «Работа не волк, в лес не убежит», а я за той работенкой все ночи сижу, портняжу, чтобы, значит, семейство прокормить.

Она охотно говорит о прошлом. Говор ее сохранил всю певучесть и своеобразие волынских крестьян. Ее собеседница — молчаливей, скупей на слова, сдержанней. Жизнь работала в Маяковской эту

сдержанность и сосредоточенность. Лесничий был горяч и неровен, иногда пустяк выводил его из себя. Дети тоже росли очень разные, в особенности Володя заботил мать. И нужна была сильная воля, чтобы управлять этим большим и пестрым гнездом.

Давно, еще в девушках, Александра Алексеевна писала стихи. И это снова роднит ее с Ольгой Осиповной, которая, почти не зная грамоты, складывает стихи и до сих пор слагает поэтические причеты по умершему сыну. Сыновья! В сумке Ольги Осиповны фотография семилетнего бело-брысенького Коли в вышитой рубашке.

— Вот какой был малесенький хлопчик! Она показывает, уверенная, что нет человека на свете, который не умилился бы видом ее хлопчика. И другая мать спешит показать портреты сына, и она тоже убеждена, что никто не останется равнодушным перед этим твердым и страстным лицом, перед всепроникающим взглядом ее Володи. А потом начинается как будто бессвязный, но на самом деле скрепленный логикой материнской любви и гордости разговор о сыновьях, об их отношении к матерям, о том, как Володя звал «маленькую маму» и писал о ней стихи, а Коля слал своей старой голубке трогательные письма.

И еще о том, как один привез матери из-за границы самовдевающую иглу, потому что глаза у нее стали плохие, а другой вызывал к себе мать во все трудные минуты жизни.

И тут же обе старые женщины припоминают много такого, о чем не говорится. Александра Алексеевна — выставку Маяковского «Двадцать лет работы» и ту минуту, ког-

да сын, заметив ее в дверях, прервал на полуслове свою речь и, бросив всех посетителей, повел ее по залам выставки, как самую знаменитую и почетную гостью. Ольга Осиповна — тот год, когда Островский, уже больной, вызвал ее к себе в Сочи, и она вместе с Рансой пошла в «Ривьеру» заниматься прачкой, чтобы кормить и лечить сына. И от этих воспоминаний — и грустных и вместе с тем приятных, потому что именно такие минуты доказывали им, как они нужны своим сыновьям, — обе матери невольно перешли к самому тяжелому — к смерти сыновей.

— Я простая крестьянка, в сны верю, — сказала Ольга Осиповна, — вот я рассказываю мой сон. И по ее речи, сразу ставшей певучей, медлительной, было ясно, что она расскажет что-то необычное.

— Сплю я у себя дома в Сочи и вижу: летят над морем самолеты, тысячи самолетов, прямо небо скрыли и шумят, шумят, аж в ушах больно. Понимаю я, что война это началась. Выбегаю из дому, гляжу, стоит мой Коля совсем здоровый, шинель на нем, шлем, в руках винтовка. А кругом него понарыты окопы, ямы, колючей проволокой все обвито. Хочу я Колю спросить о войне, да только вдруг думаю: он на часах стоит, значит его спрашивать не полагается. Хочу в дом вернуться, — а ямы все шире, колючая проволока за ноги цепляется, не пускает. Хочу я крикнуть, — не могу...

Проснулась я и решаю: сон нехороший, верно, с Колей в Москве что приключилось. Пойду, думаю, за билетом, поеду к Коле, скажу ему, чтоб не сердился, что меня в Москву доктора лечить послали. Собираюсь идти в кассу за

билетом, а тут мне от Коли письмо подают. Пишет Коля, что ему лучше, что скоро он вернется, что весной мы будем вместе жить. Читаю, а тоска все меня не отпускает. Уговариваю сама себя: ну, куда ты, старая, поедешь? Зачем тебе ехать, коли сын пишет, что все хорошо!? И, конечно, не пошла за билетом.

А вечером улеглась я спать, часов одиннадцать было, слышу, стучатся. — Ольга Осиповна, вы уже спите? — По голосу узнаю, один знакомый из горкома. — Сплю, — говорю ему. — Вставайте, — он говорит, — Коле хуже стало, мы вас хотим в Москву отправить. — Тут у меня сердце к коленкам подкапало, и только одна думка осталась про то, что поезд уже ушел, а другого ждать до следующего дня надо. — Мы вас на дрезине отправим, — говорит он. — А я все в толк ничего взять не могу и толкую ему, что на дрезине не хочу ехать, знаю, что это трясучка такая.

Тогда он подошел ближе к двери, да как скажет:

— Коля умер, нет вашего Коли! И сам заплакал...

Тут у Ольги Осиповны прерывается голос, она смотрит на Александру Алексеевну.

— Вашему сколько лет было? — (она не добавляет, «когда это случилось») — Тридцать семь. А вашему?

— Моему тридцать два.

Наступает молчание. Обе матери неловко сморкаются, пряча друг от друга слезы. — Ну, довольно о тяжелом, о злорадном. Давайте о сегодняшнем, — наконец, с живостью говорит Островская.

Они делают впечатлениями своей теперешней жизни. И тут начинаешь понимать, откуда в этих старых женщинах такой неиссякаемый запас энергии и интереса к су-

ществованию. Обе они живут, окутанные заботой и лаской страны и обе они непрерывно чувствуют, что они нужны. Ольга Осиповна только что вернулась из деревни Вилии, которая теперь вместе с бывшей Волынской губернией вошла в Западную Украину. Сейчас в Вилии организуется музей Островского, и мать его помогает устроить в хате все так, как это было при ней. Она пишет свои воспоминания о сыне, ведет переписку с многими тысячами читателей Островского, которые хотят через нее ближе почувствовать живого Павла Корчагина. Она ездит то на съезд учителей, то к пионерам, то рассказывает о сыне экскурсантам в Сочинском музее. В этом — ее долг перед памятью сына.

— Коля сказал бы мне: если ты можешь чем-нибудь помочь людям, что-то объяснить, поезжай.

К Александре Алексеевне тоже ездят постоянно художники, писатели и просто почтители Маяковского. Она рассказывает им о сыне, дает указания, заботясь о том, чтобы образ его вышел верным, близким к правде. Она читает все, что пишут о Маяковском, и сурово критикует «лакировщиков». Весной она поедет в Багдади, в тот дом у горы, где родился Маяковский. Она хочет сама поставить каждую вещь в этом доме, где тоже организуется музей.

Только увидя этих двух матерей, постигаешь вполне, откуда у Островского высокая простота и цельность, у Маяковского — его суровая страстная непримиримость и у обеих — горячая всепобеждающая сила жизни.